

Борис Минаев
МЯГКАЯ ТКАНЬ
Книга первая. Батист

Серия «Самое время!»

Роман «Батист» Бориса Минаева — образ «мягкой ткани», из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная история — это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и неотвратимость смерти. Герои романа — обычные люди дореволюционной, николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.

БОРИС МИНАЕВ

**МЯГКАЯ
ТКАНЬ**

**КНИГА ПЕРВАЯ
БАТИСТ**



Посвящается Дориану Михайловичу Минаеву

Глава первая

Доктор Весленский (1925)

7 июня у киевского доктора Весленского умерла жена.

Болезнь протекала стремительно. Наконец наступило утро, когда доктор, зайдя в ее комнату (сам он спал в соседней, открыв широко дверь и чутко прислушиваясь к каждому звуку), обнаружил жену уже холодной и тихой.

Весленский обмыл тело влажной губкой, передел Веру в чистое белье и ушел. Днем он принимал больных, потом зашел в библиотеку и лишь вечером отправился обратно домой. Там перенес жену на обеденный стол в гостиную, под яркую люстру, и начал раздевать, вглядываясь во все то, что так хорошо знал. Вера была моложе его на пятнадцать лет. Нельзя сказать, что она была красавицей. Нет. Она не была красавицей: довольно рослая молодая девушка с длинными руками и ногами, маленькой грудью, смешным милым лицом.

Доктор, разумеется, знал, что задача, поставленная им самому себе, необыкновенно трудна. Читая и перечитывая труды по бальзамированию¹, взятые в городской научной библиотеке, в частности статьи г-на Выводцева, по методу которого Весленский собирался действовать, доктор параллельно в уме производил подсчеты и даже рисовал в воображении некоторые пространственные схемы. В частности, он хотел понять, а сможет ли один воспользоваться инъектором Выводцева, чтобы ввести в тело необходимую жидкость, сможет ли сам справиться с операцией, сделать надрезы, наложить зажимы, ведь инструменты необходимо кому-то держать наготове, а члены усопшей — сохранять в неподвижности.

Но прежде чем приступить ко второй части своей работы, перейти к самому процессу подготовки тела и всего прочего необходимого, доктор хотел *проститься* с Верой, как он это называл про себя.

То есть в полном одиночестве, *наедине с нею* дать волю своим чувствам, причем сам он (называя это в уме именно так) вовсе не предполагал и даже не пытался понять, что значит — *проститься*, что это будет и как это будет, он просто твердо знал, что ему в этот момент ничто не должно мешать.

Плотно зашторив окна и заперев двери, доктор снял с тела и аккуратно сложил — на стуле, рядом с обеденным

столом, — легкое покрывало.

Нельзя сказать, чтобы ему в этот момент ничего не мешало.

Ему мешали мысли, а если говорить точнее, это были его собственные страхи, материализовавшиеся в слова, в какие-то всполохи, как бывает летней ночью, во мраке, когда где-то вдалеке идет гроза и в мертвой духоте, теплоте лета, в его мягкой темноте вдруг образуется некая зона огня, как напоминание о другой жизни...

Так вот, эти мысли были совершенно неожиданными, и каждый раз, когда доктор пытался сосредоточиться на своем и уходил в это «свое» и глаза его переставали быть зрячими, он вдруг резко морщился и мелко тряс головой, пытаясь избавиться от навязчивых странных идей.

Идея первая была такой: что он *сделал ошибку* и Веру нельзя оставлять так надолго летом в душном запертом помещении. Что все кончится очень плохо, появится запах, Вера начнет меняться, в частности — цвет тела и его фактура. Хотелось выключить свет, открыть настежь окна, побежать к мяснику или еще куда-нибудь за большими, огромными кусками льда. Приходилось вновь и вновь убеждать себя, что ничего этого делать нельзя, что он не должен бояться, ибо *знает*, что надо, *помнит* все сроки, отмеренные часы, когда должен заняться вот этим и потом вот тем, что нельзя искусственно менять температуру тела сейчас, что ничего не должно произойти в ближайшие сутки, нужно просто делать то, что он себе наметил, по плану и дальше поступать точно так же — все по плану, все по часам, по минутам, все представлять себе заранее: куда идти, что говорить, что делать, какие могут быть препятствия и варианты, как эти препятствия обойти...

Сейчас по плану нужно было прощаться. Он обязан был сейчас сосредоточиться на прощании и прогнать эти мысли о том, что воздух в квартире не тот, что он задыхается вместе с ней, с Верой, от этого летнего киевского воздуха, наполненного шелестом листвы и гулом далеких голосов, что произойдет нечто неправильное, не по плану, он должен прощаться, и все, и больше ничего...

Вера лежала на обеденном столе. Она вечно обжигалась на кухне, когда что-то готовила: варила, пекла или жарила. Ее руки — запястья, ладони, локти — вечно были в следах от этих кухонных ожогов. Она любила для него готовить, хотя это могла бы делать кухарка. Но Вера любила сама печь для него сладкие пироги с вишней и яблоками, тушить мясо с

черносливом, запекать утку в духовке. И почти каждый раз обжигалась.

Доктор сидел на стуле, придвинувшись к столу, как будто собирался взять крахмальную салфетку, заложить ее за ворот рубашки и налить первую рюмку водки. Весленский низко наклонился, прислонился лбом к локтю Веры и посмотрел на ее запястье.

Каждый раз эти ожоги, такие досадные для нее, вызывали у доктора острый приступ любви, и он, понимая это несоответствие, только молча дул на них, сухо объясняя Вере, сколько будет еще побаливать, и дул, дул, дул, отчего начинала кружиться голова и Вера рано или поздно оказывалась у него на коленях.

Он пытался понять, в чем причина этого постоянного травматизма: от неловкости ли ее или от рассеянности? от того, что голова ее постоянно занята чем-то другим, посторонним? — и так и не смог.

Возможно, именно ее рассеянность и стала истинной причиной этой страшной болезни, от которой она в конце концов умерла, ведь человек должен, просто обязан чувствовать опасность, кончиками пальцев, всей кожей чувствовать, что его окружает, пропитан ли воздух вокруг жизнью или смертью... А Вера всегда как будто не жила, а спала, не ходила, а летала по воздуху.

Теперь же, вспоминая эту свою обычную тревогу за нее, он подумал: а если она подсознательно *сама* ловила эти моменты, когда он раскрывался весь, до конца? И всегда оказывалась у него на коленях, уходя в них все глубже, все мягче, и тщательно ловила эти минуты его острой нежности, заботы, связанной с ожогами...

Мысль о том, что он сидит за обеденным столом, не давала доктору покоя, раздражала, отвлекала от прощания.

«Ведь я же не собираюсь ее есть», — подумал он почти вслух.

Кожа после сильных ожогов меняет фактуру, становится чуть беловатой, чуть мертвеет — он легко находил эти белесые, немного другие на ощупь пятнышки на ее руке, находил кончиками пальцев, чувствуя от этого странное возбуждение.

Сосредоточиться не получалось. Доктор отодвинул стул на приличное расстояние и начал смотреть на свою жену издали.

Вышло еще хуже.

Здесь как-то виднее была вся его комната, вся гостиная и дверь на кухню, откуда обычно появлялась кухарка Елена, и

доктор вдруг понял, что *им всем* нужно будет что-то говорить, объяснять, втолковывать. Он хорошо представил себе лицо Елены, когда она увидит то, что он собирался сделать. И ему вдруг стало страшно, и он стал трусливо, жалко думать о том, что своими поступками нарушает целую вереницу законов, установлений, обычаев, убеждений, принятых в этом мире... и стоит ли их нарушать?.. Но и не может он сейчас, вот так сразу, резко, расстаться с Верой и с ее телом, не может, нет, он будет действовать именно по плану, потому что всякое живое существо должно иметь в своих действиях план, а существо без плана, по сути дела, мертвое, бессмысленное существо, лишенное воли к жизни...

«Но был ли план у Веры? — подумал доктор. — И была ли у нее воля к жизни? Не была ли ее постоянная рассеянность *прямым* доказательством того, что свой план Вера где-то потеряла, а может быть, даже и не нашла?»

Наконец доктор провел ладонями по лицу, выключил весь свет и достал большую высокую свечу.

Мысль о людях, которые совокупляются с мертвыми телами, ясная и зримая, доводила его в этот момент до тошноты, но в то же время он понимал, что в уме, в воображении, именно *это* он собирается сейчас сделать.

Он понимал, что впоследствии, когда все препятствия будут преодолены, он уже не будет воспринимать ее как знакомое ему тело, потому что... она (то есть не она, а ее тело) останется для него лишь как плод его усилий, как символ, как форма, как сосуд, но не как что-то живое, что еще сохранялось сейчас и с которым он собирался прощаться...

Тени скрыли то неприятное, что хотелось скрыть. Доктор Весленский стоял со свечой над своей женой и думал о том, что она оказывалась в его руках, горячая и задыхающаяся, ровно в те часы, какие были им предусмотрены, это было почти по минутам отмеренное время. И о том, что он хладнокровно следил все эти годы, которые они прожили вместе, за ней — как все привычней становились ее движения, как все сильней и смелей становились ее руки, как жарче и чаще дышала она в такт ему.

...Но гораздо более *важными* в их любви были не эти минуты, а другие — когда он видел ее как бы со стороны (на самом деле даже не видя), будучи совсем далеко от нее (например, в своей больнице), представляя, как она идет сейчас с корзинкой по рынку, или входит в библиотеку, или идет на концерт, или просто стоит на улице. И именно в этот

момент, когда он просто вспоминал ее, его посещало то чувство, которого он так ждал сейчас...

Он часто размышлял о том, что весь его мир — это и есть она, ее высокие сапожки, ее слишком тонкая нога, и длинная ступня, и искривленные пальцы на ногах, ее худая шея, ее уши, ее детские ожоги. Что ради этого знания о ней, о том, что она есть, — существует и целый мир, существует он сам и вся его жизнь, которую он прожил ради этой встречи...

Проститься с Верой по-настоящему Весленскому в тот вечер так и не удалось. Он думал о своей предстоящей работе. И об их предстоящей новой жизни.

Доктор в ту первую ночь ненадолго заснул, а утром проснулся с ясной мыслью: один он не справится.

Прикрыв Веру покрывалом (и предварительно внимательно осмотрев ее), он без завтрака направился в больницу, где тут же нашел своего заместителя Ивана Бурлаку.

Заместитель главного врача Бурлака периодически запивал и не приходил в больницу по несколько дней, однако, учитывая трудные времена в государстве, Весленский эту особенность неохотно ему прощал, и Бурлака был благодарен и предан ему насколько мог, причем, будучи *партийным*, не вмешивался в дела беспартийного доктора, нисколько не намекал ему на свое определенного рода могущество, а пытался точно и в срок выполнить все его указания, тихо и без шума проводил собрания небольшой партиячки и грубо обрывал на ней всякого, кто пытался критиковать администрацию больницы с позиций классовой борьбы.

Человек он был огромного роста и могучего телосложения, при этом добрый и спокойный, легко брал на себя некоторые специфические заботы по хозяйственно-административной части: следил, например, за тем, чтобы партийные товарищи, занимающие какие-либо посты в городе Киеве, лежали в больнице поудобнее, чтобы питание у них было лучше и чтобы к ним почаще заходили медсестры. Так же легко давались ему переговоры с различными «товарищами», которые появлялись в больнице с проверкой и сразу попадали в кабинет к нему, поскольку все в больнице хорошо знали, к кому нужно их направлять.

Иногда, чтобы особо рьяные гости не пытались проникать в глубь больницы дальше положенной им территории, приходилось доставать банку медицинского спирта, причем в нужный момент, не раньше и не позже, и тогда товарищеский

разговор неоправданно затягивался, о чем Весленский непременно сообщал Бурлаке с брезгливой полуулыбкой.

Услышав в то утро, о чем идет речь, Бурлака надолго отвернулся к окну.

— Знаете что, — наконец произнес он. — Я хочу с вами выпить. Мы с вами никогда не выпивали еще.

— Вера была прекрасным человеком, — торопливо сказал доктор. — Вы понимаете это?

— Я понимаю, — отозвался Бурлака и налил в мензурки себе и доктору. — Давайте, доктор. Давайте помянем вашу жену. Это не наш обычай, я знаю, не советский, но что же делать.

Доктор молча кивнул, выпил.

— Только не плачьте — сказал Бурлака. — Вид плачущих мужчин меня убивает.

— Да не буду я плакать, — сердито откликнулся доктор. — Иван Петрович, вы мне поможете?

— Не знаю, — покачал головой Бурлака. — Просто не знаю, что и делать. Как-то странно это все.

— Иван Петрович, дорогой, — заторопился доктор. — Поверьте на слово. Я без этого просто не смогу жить. Хотя бы на первое время... На первое время...

Потом доктор написал на бумажке список необходимых препаратов и пошел в хирургическую за инструментами.

Бурлака меж тем принялся составлять *документ*.

Документ на бланке больницы, а верней, горздравотдела, необходимо было составить такой силы и такой хитрости, чтобы никто, включая милиционеров, дворников и прочих разных грубых и малограмотных людей, с одной стороны, не мог бы усомниться в его подлинности, а с другой — не стал бы вникать глубоко в его суть.

Из документа в конце концов получалось, что *тело* покойной супруги главного врача Киевской городской больницы товарища Весленского, Штейн Веры Марковны, необходимое для серии научных экспериментов, является собственностью упомянутой горбольницы и не подлежит захоронению в общем установленном порядке.

Написав «в общем установленном порядке», Бурлака окончательно успокоился, налил себе в мензурку слегка разбавленного спирта, зажевал свежим огурцом и лег на кушетку, смешно подогнув ноги.

Он знал, что накануне сегодняшнего вечера ему необходимо поспать.

Препараты достали легко. Все они имелись в больнице в достаточном количестве, и перенести их вдвоем (в двух докторских саквояжах) Весленскому и Бурлаке не составляло никакого труда.

Труднее было с инструментами, а главная, нехорошая трудность ждала их с пресловутым инъектором д-ра Выводцева.

Решив с утра главный вопрос — с Бурлакой (то есть действуя строго *по плану*), доктор немедленно помчался в городскую библиотеку города Киева, где взял всю имеющуюся литературу о бальзамировании трупов. Потратив не менее двух часов на лихорадочное конспектирование, доктор вдруг ясно понял, что никакого инъектора он в ближайшие часы не достанет и что придется обходиться как-нибудь без него, а именно — обычными шприцами большого объема.

Следующий вопрос — как сделать так, чтобы в больнице *не заметили* внезапного исчезновения такого большого количества скальпелей, зажимов, шприцев и другого, — доктор решил очень просто — работать ночью. В ночное время в их больнице, за редчайшим исключением, никаких операций не производится, поэтому и инструменты в это время вряд ли кому могут понадобиться.

Сказав все это, доктор три раза прочел уже проштампованный печатью документ, аккуратно сложил его и спрятал в карман пиджака.

Успокоенный Бурлака пошел принимать очередную комиссию, а сам доктор — больных.

А потом наступил вечер. Вечер второго дня.

Вообще, надо сказать, что доктор Весленский был личностью неординарной и *до* описываемых событий.

Известно о нем было, например, то, что во время операции во фронтовом госпитале (на полях, так сказать, сражений Первой мировой войны) произошел с доктором некоторый тяжкий конфуз.

Операция была тяжелая, полостная, и Весленский был в очень большом напряжении, когда мимо него вдруг прошла *делегация*.

Делегация эта, помимо фронтового начальства, содержала в себе и кого-то из членов царской фамилии, а именно, некое лицо женского пола: возможно, великую княжну Ольгу, или Анастасию, а то и саму императрицу Александру Федоровну.

Все эти женщины, кстати, включая Александру Федоровну, не раз бывали в госпиталях и даже работали сестрами милосердия. То есть делегация сама по себе была делом если не будничным, то вполне понятным, и поэтому, когда Весленский вдруг резко перестал оперировать и заорал истошным диким голосом: «Стоп! Выйдите вон! Вы мешаете работать!», на мгновение в просторной лазаретной палатке наступила мертвая тишина. Никто не знал, как быть и что делать дальше.

Однако самый вид доктора, склонившегося в окровавленном халате над распластанным телом, и его безумный левый глаз, как бы остановившийся и глядевший куда-то в сторону, в пустоту, был так убедителен и так одновременно хорош, что тишина стала быстро исчезать, высокая гостья произнесла несколько слов на французском и вместе со своей свитой изящно ретировалась, строго-настрого приказав не применять к доктору никаких дисциплинарных взысканий и, боже упаси, вообще никак его за этот случай не наказывать.

То, что штабной генерал, сопровождавший высокую гостью, начал отвечать чересчур громко, чересчур ретиво, и к тому же *под руку* врачу, совершавшему операцию, было как раз всем понятно, и что инструкции были даны ее высочеством (или величеством) самые что ни на есть прямые, тоже было всем очевидно... тем не менее с этих самых пор блистательная карьера военврача Весленского как-то не задалась.

Не было ни продвижения по службе, ни наград, ни чего-то еще, чего, может быть, доктор ожидал, да и вообще отношение к нему стало как-то суше, опасливее и холодней: ведь случай был весьма нерядовой, разнесся быстро по всем фронтам и был воспринят весьма неоднозначно, так что болезненное это высказывание, хотя и вполне корректное для фронтовой медицины, в рамках, так сказать, более общих пошло гулять себе и жить своей жизнью, нанося непоправимые удары воинской иерархии, дисциплине, а стало быть, и всей службе, и всей армии в целом.

Но вот что знаменательно: если карьера доктора (военная, а потом по инерции и штатская) пострадала, то сама жизнь его, *судьба* Весленского, по большому счету была спасена.

Ибо началась революция, и куда бы доктор с тех пор ни попадал, в каких бы сложных обстоятельствах ни оказывался, всюду о нем начинали судачить: «А, это тот самый, который...» и всюду эта легенда, дополняемая все новыми

подробностями, деталями, штрихами, шла за ним следом. И доктора... не трогали.

Для всех властей, таким образом, доктор Весленский был не просто врачом, а *тем самым* врачом, символом, так сказать, гражданского бесстрашия, или честности, или чего-то еще, что было даже и не совсем понятно, не совсем переводимо на обычный язык, и оттого доктор благополучно пережил все революционные годы и годы Гражданской войны.

Именно об этом, то есть о незаурядности, исключительности и *предназначении*, и говорил с доктором в ту ночь Иван Петрович Бурлака.

— Послушайте, — говорил он Весленскому. — Послушайте меня, мой дорогой. Я знаю, что вы ее очень сильно любили. Я это понимаю. Если бы я этого не понимал, я бы не стоял сейчас здесь. Но вот я стою здесь, подавляя в себе страх, и тошноту, и ужас, я стою здесь ради вас, *только* ради вас, дорогой мой. Именно поэтому я прошу вас, вот сейчас, выслушать меня. Дело ведь не в том, как пройдет операция. И добьемся ли мы с вами... удачного результата... — Бурлака немного помолчал. — Но... вы простите меня, доктор, я думаю сейчас больше о том, что же будет дальше. *После этого*. Вы ведь не просто врач. Вы, может быть, великий врач. И от того, как сложится ваша жизнь, зависит и жизнь очень многих людей. То есть в прямом смысле. Выживут ли они. Жизнь их зависит, понимаете? Так зачем же мы с вами сейчас хотим погубить все эти человеческие жизни, которые вы должны спасти вашими руками и вашей мыслью? Ведь то, что мы хотим с вами сделать... доктор... то, что вы хотите сделать... это, знаете ли, пахнет мистикой и... каким-то, вы знаете, нездоровым, не нашим, не советским отношением к смерти. Одно дело — вождь пролетариата, другое дело — жена. Вы хоть это понимаете? И что будет с вами после этого, так сказать, эксперимента, я сказать затрудняюсь. Честное слово, затрудняюсь.

Все это Бурлака говорил, подняв руки, согнутые в локтях, кверху — как делают все хирурги перед операцией. И доктор стоял тоже в белом халате и в той же позе. Они стояли по разные стороны обеденного стола, на котором лежала Вера Штейн. Ярко горела люстра, белели простыни, поблескивали инструменты, мутно и в то же время как-то таинственно блистали растворы в склянках. И самым опасным и

нестерпимым в этом пейзаже было тело Веры. Одно лишь это тело, не говоря уж про все остальное, красноречиво свидетельствовало о том, что отступать им некуда.

— Ну, с богом, дорогой Иван Петрович, — просто сказал Весленский. — Во время операции разрешаю вам пить спирт, но осмотрительно.

Весленский то и дело соотносил свои действия с конспектами. Все надрезы он делал крайне бережно, а составы вводил крайне аккуратно.

— Вы извините, доктор, — сказал Бурлака в середине этой ночи, — но мне на вас даже как-то смотреть неудобно. Как будто вы с ней что-то такое...

— А вы и не смотрите, — сухо ответил доктор. — Или думайте о чем-нибудь своем.

Думать, впрочем, было особенно некогда, доктор и Бурлака работали как сумасшедшие почти до утра.

Вообще идея привлечь к этому делу *ассистента*, как потом понял доктор, была совершенно гениальной.

Утром Бурлака вызвал карету «скорой помощи» и, отозвав лекарей на кухню, долго о чем-то с ними говорил, предъявив документ. Лекари не соглашались вначале, но затем, внимательно осмотрев тело и сочувственно покивав, попрощались и вышли, обещав вскорости предоставить доктору официальное свидетельство о смерти.

Затем явилась кухарка Елена.

С ней доктор говорил сам.

Единственное, что в его рассказе было выдумкой, это ни на чем не основанное утверждение, что тело нужно медицине для научного эксперимента, для обучения студентов и прочих медицинских надобностей, и хотя трогать его никто не будет, но находиться оно должно дома, для пущей сохранности, а с больницей (доктор кивнул на Бурлаку) он обо всем договорился.

Потрясенная Елена долго плакала, потом попросила показать ей Веру и расплакалась еще пуще.

Но вот что было поразительно, отметил про себя Бурлака: ни лекари «скорой помощи», ни кухарка — никто поначалу не выказывал никакого удивления, не впадал в крайний ужас, не умолял доктора отказаться от его безумной затеи. Елена осторожно осведомилась, где именно отныне будет находиться хозяйка и как за ней надобно ухаживать.

Она выслушала инструкции молча и, взяв рубль, отправилась, как всегда, на рынок.

Придя с рынка, где окончательно продышалась и успокоилась, Елена принялась за уборку. Убираться ей в тот день пришлось значительно больше обычного, голову кружили странные запахи, и доктор дал ей еще пятьдесят копеек, а сдачи с рынка не попросил.

Наконец, постояв еще немного у открытого настежь окна, Елена принялась за готовку. Доктор ведь должен чем-то питаться, о чем она с жалостью ему сообщила. Затем осторожно осведомилась, желает ли доктор борщ, и прикрыла за собой дверь в кухню.

Однако дожидаться борща Весленский с Бурлакой никак не могли, поскольку им следовало отправляться в больницу.

После бессонной ночи их трудовой день тянулся необыкновенно долго, доктор то и дело заходил в кабинет к Бурлаке, но тот был с очередной комиссией и делал ему извиняющиеся знаки — мол, простите, занят, занят!

Тем не менее в перерыве между двумя больными Весленский все же улучил минутку и застал Бурлаку в одиночестве — на этот раз он сладко спал, прислонившись головой к стеклянной дверце книжного шкафа. Доктор его разбудил, они быстро разлили по мензурке и выпили за упокой души Веры Штейн. И хотя Весленский сразу зажевал спирт кофейным зерном и от него почти не пахло, факт этот в силу своей крайней необычности быстро разнесся по ординаторским и другим служебным помещениям вверенной ему городской больницы.

Однако врачи и сестры уже знали от Бурлаки, что у доктора умерла молодая жена, и лишь сочувственно кивали, охали и, оставшись одни, смотрели куда-то вдаль, силясь постигнуть загадку чужой судьбы.

Что касается самого доктора, то и вечером этого третьего дня он продолжал действовать строго по *плану*.

Еще не зная, удачно ли прошла их *операция* (но свято веря в ее успех), он отправился на Крещатик, в зоомагазин, где заказал длинный и очень низкий (как показалось продавцу) аквариум из самого тяжелого стекла — два метра десять сантиметров в длину и тридцать пять сантиметров в высоту, а в ширину пятьдесят, как будто доктор собирался содержать в нем не рыбок, а нечто совсем другое.

Вид у доктора был, однако, суровый, даже грустный, и заплатил он вперед полную стоимость работы, так что продавец не решился спрашивать его о странной форме аквариума, а лишь, пожав плечами, записал цифры.

Затем доктор вернулся домой, отведал борща и, переодевшись, лег спать раньше обычного.

Ночью, а верней, ранним утром, часа в три или в четыре, доктор *по плану* должен был проснуться и внимательно осмотреть тело — удостовериться, что все прошло успешно. А пока ему надлежало поспать.

Но заснуть сразу он, конечно, не мог. Диван был достаточно далеко от стола, и Весленский видел Веру, хоть и недостаточно хорошо, но все-таки видел.

Глядя сбоку на Верины колени, лодыжки и пальцы ног, доктор не мог избавиться от ощущения, что она лежит как-то странно, неудобно, не *физиологично* и что надо подсказать ей какую-то более удобную позу. Но не словами, а так, как он это делал всегда, уже засыпая, просунув под голову ей свою руку и подгибая локти и колени таким образом, чтобы голове и шее было удобно лежать у него на плече. Или когда он мягко и почти незаметно укладывал ее ногу на своей ноге, и хотя заснуть в таком положении ему, конечно, не удавалось, но Вера, радуясь удобству и покою, начинала тихо посапывать и, чуть вздрагивая, уносилась в свой детский сон.

Сон у нее и впрямь был детский. И дело было, конечно, не в том, как быстро она засыпала, успев переделать за день множество дел, и как легко, мгновенно просыпалась. Детское было в самой фактуре ее сна: в том, как она легко уплывала навстречу своим ночным иллюзиям, как тихо шептала во сне разные слова, как просто было ею руководить во сне — доктор иногда складывал ее руки так и этак, менял положение головы на подушке, но Вера все равно спала, и ничто не могло ее вытянуть из этой огромной сладкой пропасти.

Ее сон, конечно, был почти прямым продолжением их любви, в которой доктор всегда пытался руководить, быть мягким и терпеливым *отцом*, хотя эта роль у него никогда не выходила до конца, никогда не удавалась вполне.

Вера почти всегда откровенно смеялась над этими его попытками; «ты опять... опять торопился», давясь от смеха, шептала она, и какое-то дурацкое, непонятное счастье отражалось на ее лице, озаренном свечой, и он как-то даже злился на этот сдавленный смех, который казался ему очень жестоким, вот именно по-детски жестоким. Доктор каждый раз остро переживал свою *неудачу*, хотя в конце концов злиться перестал и любовался ею совершенно бездумно в эти минуты ее девичьего глупого торжества над ним.

Но однажды что-то в ее взгляде остро кольнуло, и утром он не мог успокоиться, все думал об этом и наконец, уже

спустя несколько дней, когда они куда-то шли мимо толпы, трамваев и лошадей, которыми тогда были полны улицы больших городов, волнуясь и злясь, начал говорить ей, что дальше так продолжаться не может, что для мужчины *это* важно, и вообще, если она не знает об *этом*, придется немного поговорить и на *эту* щекотливую тему, счастье или хотя бы взаимопонимание в постели — основа брака, его земля, почва, на которой растет все остальное, и что, несмотря на вполне понятные ему чувства, как то: скромность, тактичность, деликатность и прочее, он все-таки должен, *обязан* знать, что она испытывает, и испытывает ли что-то вообще, и как именно, ибо без этого...

Ей было жутко неприятно слушать, она отворачивалась. Наконец он бросил говорить все эти гадости, покраснел, почти заплакал, остановился перед ней, начал оправдываться, шептать: ну пойми, пойми меня и прости, если можешь, это моя дурь, дурь любовная, ну пожалуйста...

Вот тогда ее губы стали чуть мягче, глаза блеснули, и она прошептала:

— Ты *никогда* об этом не узнаешь, понял?

Пораженный этими словами, а верней, их тоном, доктор отступил, машинально взял ее за руку, и они пошли молча; их оглушили, облепили чужие звуки, он так хорошо помнил это — цоканье копыт, голоса, ветер, гудки далеких машин, шорох шагов и чей-то истошный, догоняющий крик: «Подожди, товарищ, да подожди же ты, товарищ! Товарищ, ты меня не слышишь, что ли! Да, твою мать, подожди, товарищ!».

Хотелось оглянуться, но он боялся, что, повинуясь безотчетному импульсу, потеряет Верину руку и они пойдут уже совсем по отдельности. Так он и не оглянулся и не узнал, что это был за смешной человек, который бежал по киевской улице и кричал, кричал: «Подожди, товарищ!».

В сумерках доктор повернулся на другой бок — лицом к кожаной диванной подушке; Вера теперь лежала у него за спиной, и ему вдруг показалось, что сейчас и она повернется на бок вместе с ним, настолько привыкла делать это во сне, настолько тесной все эти годы была их телесная, да и душевная, связь, и что сейчас она откроет на секунду спящие глаза...

Как она всегда это делала.

Часа в четыре, как и было задумано *по плану*, доктор проснулся и встал. Умывшись и выпив чаю, он плотно

зашторил окна, надел белый халат и приступил к осмотру.

Результат, откровенно говоря, был превосходен.

Весленский даже не ожидал, что он будет настолько превосходен. Кожа Веры выглядела изысканно-белой и не потеряла упругости. Вообще *все* тело казалось мягким и эластичным, это доктор специально проверил, сгибая и разгибая суставы. Конечно, это была совсем не та мягкость и эластичность, что раньше, а искусственная, рыхлая, заторможенная эластичность, похожая на слишком медленный танец или на переводные картинки с их нелепой правдоподобностью. Но доктор не ожидал и этого. Он не ожидал вновь увидеть на этой коже особый, присущий только ей *блеск*, и хотя это был, конечно, мертвый, неживой блеск, как на вощенной поверхности, но все-таки это был выдающийся результат.

Он до самого рассвета просидел у изголовья Веры, все тщательней и все любовней обдумывая подробности своего плана.

А когда появилось первое солнце, заснул, сидя на стуле и держа Веру за руку.

Вообще, ему долго пришлось приучать ее к этому — что он постоянно держит за руку, заставляет садиться к нему на колени или сам обнимает крепко ее колени, почти до боли.

Поначалу она лишь мучительно краснела. Не говорила ему ничего.

Потом сказала:

— Для меня это слишком много, понимаешь?

— Что значит «слишком много»? — искренне удивился он.

— Да, ты меня не понимаешь, — подтвердила она кивком головы и отвернулась, скрывая слезы. — Я вижу, что ты не понимаешь, и это мучительно, но для меня, поверь, это действительно слишком, дай мне, пожалуйста, время привыкнуть, я не хочу, чтобы это происходило всегда, везде, чтобы я стала для тебя как вещь...

— Что-что? — расхохотался доктор. — Что значит «как вещь»?

— Нет, не то. — Она продолжала отворачиваться, и это его злило больше всего. — Просто мы по-разному чувствуем, ну я не хочу быть такой... захватанной, знаешь, бывает такой захватанный прозрачный стакан, на нем видны отпечатки пальцев.

Когда нужно, она умела быть смелой.

Доктор долго молчал.

— Извини, пожалуйста, — сказал он наконец, — я не знал, что вызываю у тебя столь неприятные физиологические чувства.

— Ты старый дурак, — сказала она. — Ты вызываешь во мне чувство восторга, больше ничего, и чувство благодарности, но дай мне к тебе привыкнуть, дай мне стать такой же свободной...

Так возникла эта *тема*. Мучительная для него, но без нее не было бы всего остального, теперь он ясно это понимал.

«Ты никогда об этом не узнаешь, понял?!» — выпалила она там, на улице, среди лошадей и красноармейцев (какая-то воинская часть торопливо обгоняла их, а может быть, это были милиционеры).

И в ее словах была доля правды. В ее молчании (и до, и после) была та *завеса*, дистанция, граница, которую он постоянно чувствовал. И ее никогда нельзя было достать оттуда, заставить раскрыться полностью. В этой немоте Веры всегда был для него какой-то холод, страх ухода. Туда, насовсем, где она постоянно была какой-то своей частью, «одной ногой».

Так оно, кстати, потом и случилось. Так оно и случилось.

Но в то же время это была лишь *доля* правды. Доля, постепенно становившаяся долькой. Сладкой, брызжущей соком мандариновой долькой, чуть прозрачной, если поднести ее к лампе.

Например, когда она послушно раскрывала колени и чуть сгибала ноги, делаясь сразу немного смешной и податливой, доктор в первые разы явственно чувствовал головокружение.

Заставляя Веру принимать эти чересчур *физиологические* позы, он испытывал и ужас, и чувство дикого счастья не почему-либо (это все — телесное, томительное и долгое — приходило потом, когда он забывался), а потому, что тем самым ее немота прерывалась.

Приоткрывалась завеса.

Не было холода.

Конечно, ничто не могло заставить Веру закричать или заговорить во время любви, но запретить себе дышать она все же не могла.

Каждое ее движение он оценивал, осматривал в каком-то двойном или тройном зеркале, расщепляя на фазы и полутона. Каждое ее движение (или дыхание) полно было для него глубокого смысла. Потому что он всегда, в любую минуту, оставался врачом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru